

Павловск в наследии Анны Ахматовой и острый эпизод в «Идиоте» Достоевского

С. И. КОРМИЛОВ

Как известно, А. А. Ахматова принадлежит к племяде поэтов-царскоселов. Огромный материал, относящийся к теме “Царское Село в поэзии”, был, по сути, только затронут в эссеистской по характеру книжке Э. Ф. Голлербах “Город муз” (1927, 1930); между тем даже творчество одной Ахматовой заслуживает в этом плане специального обстоятельного исследования¹. Гораздо реже, чем Царское Село, упоминается в ахматовских текстах соседний Павловск. Но частота и значимость упоминаний, их смысловая емкость — далеко не одно и то же.

В автобиографическом наброске “Дом Шухардиной” 70-летняя Ахматова, во многом подводя итог жизни и заявляя о невозвратности прошлого, о том, что людям ее поколения “возвращаться некуда”, писала: “Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться (да еще в бензиновой жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас”². Хотя заметка посвящена в основном Царскому Селу, весьма знаменательно такое ее завершение — упоминание в контексте рассуждения о памяти вообще павловского летнего концертного зала, построенного в 1835—1837 гг. А. И. Штакеншнейдером около станции железной дороги и давшего затем наименование российским железнодорожным станциям вообще (здание не сохранилось); с открытием музыкального сезона ассоциируются столь памятные места, что Ахматова характеризует их более чем ответственной автоцитатой из еще не опубликованного и даже не доверенного бумаге, а пока хранящегося в памяти автора и нескольких ближайших друзей “Реквиема”: “<...> в царском саду у заветного пня, // Где тень безутешная ищет меня” (З, 29—30). Это одно из трех упоминаемых Ахматовой мест, где, по ее предположению, ей могли бы поставить памятник. Первая и самоочевидная мысль, конечно, та, что “цар-

¹ География ахматовской поэзии довольно обширна. В ней в той или иной форме упоминаются 40 российских (советских) и 26 зарубежных городов. Царское Село занимает второе место после Петербурга (Петрограда, Ленинграда), оно фигурирует в 28 произведениях (см.: *Кормилов С. И. Города в поэзии Ахматовой // Stefanos. Памяти А. Г. Соколова. М., 2008. С. 132, 137. Приходится отметить курьез: сборник вышел на филологическом факультете МГУ под редакцией заведующего кафедрой истории русской литературы XX века профессора А. П. Авраменко, ученика А. Г. Соколова (бывшего декана этого факультета), с ошибкой в названии: «Snefanos» вместо «Stephanos», то есть «Венок», — заглавие одной из известнейших книг В. Я. Брюсова, который, хотя и не был доктором филологических наук, в правописании самых распространенных в культуре греческих слов не ошибался).*

² *Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 2001. С. 170.* Далее тома и страницы этого издания (1998—2002) указываются в тексте.

ский сад” находится в Царском Селе. Но процитированная заметка не оставляет сомнений в том, что павловские парки во всяком случае не выводились в сознании поэта за пределы этих мемориальных мест³.

Другая автобиографическая заметка Ахматовой посвящена только Павловску: “Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый — дым от допотопного паровозика, который меня привез, — Тярлево, парк, *salon de musique* (который называли “соленый мужик”), второй — натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий — земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское — всегда будни, потому что дома, Павловск — всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (*Pavillon de roses*). <...> Херсонес (куда я всю жизнь возвращаюсь) — запретная зона. Слепнева, Царского и Павловска — нет. Страшнее всего, что я почти все это знала, когда росла там” (5, 185). Здесь Павловск, знакомый с детства (именно детские впечатления вспоминаются в этом наброске), тоже упоминается наряду с важнейшими для Ахматовой местами: Херсонес под Севастополем, описанный в поэме “У самого моря”, — естественная среда обитания “приморской девчонки”, Слепнево под Бежецком, имение матери Н. С. Гумилева, для Ахматовой — воплощение среднерусской деревни, о которой она только там и получила, собственно, представление. В наброске “Дикая девочка” Анна Андреевна, вспоминая Херсонес, заметила в скобках: “Непосредственно отсюда античность — эллинизм <...>”. А далее, после слов о Царском Селе и Петербурге: “Весной и осенью в Павловске на музыке — Вокзал...” И без уточнения, где именно это было, — в Петербурге, Царском или Павловске: “Музеи и картинные выставки... Зимой часто на катке в парке”(5, 215). В другой раз Царское и Павловск уравниваются в биографической хронологии: «Первые воспоминания — Цар<скосельские> и Павл<овские> парки. (Розовый павильон.)» (5, 180).

Еще в двух автобиографических набросках Павловск упоминается даже без Царского Села. В одном говорится о первой попытке “писать свою биографию” — еще одиннадцати лет: “Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я помню себя чуть ли не двухлетним ребенком (Павловский парк, щенок Ральф и т. п.)” (5, 161). Показательно, что щенок — для маленького ребенка безусловно сильнейшее и “индивидуализированное” впечатление — запомнился наряду не с парком вообще, а именно с Павловским. В другом наброске выстроен несколько особый ряд, почти столь же непропорциональный, но естественный для самых ранних впечатлений, как ряд “Павловский парк, щенок Ральф и т. п. “: “П<етербург>, запах Пав<ловского> Вокзала, парусники в Гунгербурге, Одесский порт в конце 40-дн<евной> за-

³ Стоит также оговорить, что Царским назывался сад в Киеве — за Крещатиком и Европейской площадью, над Днепром. С Киевом у Ахматовой наиболее ярко связан образ Н. В. Недоброво. Вместе с тем как раз неподалеку от Царского сада, в ресторане гостиницы «Европейская», Анна Андреевна вдруг приняла очередное предложение Н. С. Гумилева выйти за него замуж. Многозначность ее поэтических образов иногда распространяется и на географию.

бастовки” (5, 171). “Запах Павловского Вокзала”, здесь как будто единый, запечатлелся в памяти наряду с чем-то гораздо более разнообразным, определенным одним словом “Петербург”.

Незадолго до смерти Ахматова вспоминает свои ранние впечатления, и, как видим, впечатления, вынесенные из Павловска, который в детскую пору для нее “всегда праздник”, отчетливо остаются в памяти на протяжении всей жизни, причем, очевидно, сохраняют чувственную конкретность вплоть до различных запахов.

Однако дело не только в силе детской впечатлительности. Павловск вспоминается в старости и как такое место, которое было чем-то особенно важно для поэта в юные и молодые годы (хотя в автобиографических набросках об этом прямо не говорится). Поэтому рассмотрение П. К. Сербиным стихотворения “Все мне видится Павловск холмистый...” (1915) в русле пейзажной лирики столь очевидно недостаточно, что не может быть определено иначе, как крайне поверхностное: “Одним из образов так называемого паркового пейзажа является стихотворение “Всё мне видится Павловск холмистый...” А. Ахматова, как и всегда, создает здесь предельно лаконичные, четкие, как на гравюре, зарисовки павловского парка поздней осенью. Это “круглый луг, неживая вода”, “в белом инее черные елки на подтаявшем снеге стоят”, ветер “свежий и колкий”. Всплывают в памяти и чугунные ворота парка и медный Кифаред; воспоминания о прошлом пробуждают прежние чувства <...>”⁴. Пересказ с цитатами особенно слаб ввиду неточности языка автора статьи: если сравнение ахматовской описательной манеры с гравюрой небезосновательно, то выражение “всплывают” (хотя бы и в памяти) “чугунные ворота парка и медный Кифаред” — метафора никак не ахматовского достоинства.

Э. Ф. Голлербах, имея в виду строки стихотворения о Бахчисарае “Вновь подарен мне дремотой...” (1916) — “Там, за пестрою оградой, // У задумчивой воды, // Вспоминали мы с отрадой // Царскосельские сады // И орла Екатерины // Вдруг узнали — это тот! // Он слетел на дно долины // С пышных бронзовых ворот” (1, 275), — заметил: “Какой-нибудь педант-краевед найдет в царскосельской лирике немало погрешностей против реальности; он скажет, что в Царском есть и Екатерининский орел, и бронзовые ворота, но нет ворот с орлом <...>. Он не поймет, что в поэтическом бреде образы сдвигаются и смешиваются”⁵. “Это бредовое восприятие Царского Села идет от Анненского через Комаровского и Ахматову к Рождественскому, одному из тех, кто причастен тайне “Кипарисового ларца” <...>. “Шепоты бреда” и “великолепье небылиц” в царскосельских стихах Анненского, как эхо, звучат в его возгласе:

“О Царское Село, — великолепный бред,
Который некогда завещан Аонидам!”⁶

Действительно, в стихотворении Ахматовой о Павловске “исполненный

⁴ Сербин П. К. Функции пейзажа в лирике Анны Ахматовой // Вопросы русской литературы. Львов, 1991. Вып. 1 (57). С. 29.

⁵ Голлербах Э. Город муз: Царское Село в поэзии. СПб., 1993. С. 172—173.

⁶ Там же. С. 159—160.

жгучего бреда, // Милый голос, как песня, звучит” (1, 246), а в первой части “Венка мертвым” — “Учитель” (1945) — говорится, что И. Ф. Анненский “Весь яд впитал, всю эту одурь выпил” (2/1, 98): мотив высокого безумия и имя Анненского здесь отнюдь не случайны. Однако “сдвиг” и “смещение” образов у Ахматовой не столь бесспорны, как полагал Голлербах, обращаясь к стихотворению о Бахчисарае. Ахматова с ее вниманием к предметности все-таки никогда не бывает неточна. Голлербах безответственно вводит читателей (в том числе автора предварительной публикации на данную тему⁷) в заблуждение. Изображение орла есть на действительно очень пышных воротах курдонёра царскосельского Екатерининского дворца. Были в парке Царского Села и другие орлы — на готических столбах Александровских ворот, поставленных в 1820-е гг. архитектором А. А. Менеласом и перенесенных в 1846 г. на границу парка, в конец дороги, идущей мимо Ламского павильона на станцию Александровскую; теперь орлы утрачены. Орлы установлены также на пилонах городских Московских ворот Царского Села (1830—1831, архитекторы В. М. Горностаев, В. А. Глинка, А. П. Гильдебрандт)⁸. Но Ахматова говорит про “орла Екатерины” и имеет в виду, безусловно, самые известные, а не затерянные далеко в парке или располагающиеся на краю города ворота, которые никак нельзя назвать пышными (особенно Александровские). Если возможны — наряду с точным указанием на объект — также ассоциации с какими-то другими воротами, то уже не с царскосельскими, а с павловскими.

В книге Ахматовой “Белая стая” подряд идут три стихотворения, адресованные Н. В. Недоброво: “Царскосельская статуя”, “Вновь подарен мне дремотой...” и “Всё мне видится Павловск холмистый...” Первое — безусловно царскосельское, третье — безусловно павловское, со вторым, возможно, дело обстоит немного сложнее. Оно, как и третье, имеет форму воспоминания (впрочем, первое отчасти тоже, там использовано и настоящее время, и прошедшее), причем воспоминания повторяющегося: “Все мне видится Павловск холмистый”, “Вновь подарен мне дремотой <...> Золотой Бахчисарай” (1, 246, 275). В Бахчисарае в 1916 г. Ахматова последний раз виделась с Недоброво, больным туберкулезом, и позже в Севастополе написала это стихотворение, завершив его словами о еще живом друге как о мертвом: осень (а осенью происходит действие и в двух других стихотворениях этого ряда) красными листьями “посыпала ступени, // Где прощалась я с тобой // И откуда в царство тени // Ты ушел, утешный мой” (1, 275). В стихотворении о Павловске Ахматова передает ощущение после въезда в парк: “Как в ворота чугунные въедешь, // Тронет тело блаженная дрожь, // Не живешь, а ликуешь и бредишь // Иль совсем по-другому живешь” (1, 246). Чугунные (Николаевские) ворота были построены по проекту К. И. Росси в 1826 г. на границе парка и города. Ахматова точна абсолютно, только не использует прописную букву (Чугунные — официальное название ворот, чугун был новым для того времени материалом; указанием на материал поэт и ограничивает-

⁷ См.: *Кормилов С. И.* Маленький город в творчестве большого поэта // Историко-литературный сборник к 60-летию Леонида Генриховича Фризмана. Харьков, 1995. С. 188—190.

⁸ См.: Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1985. С. 124—125, 154—155.

ся). Ворота увенчаны большим изображением двуглавого орла⁹.

Может быть, этого орла тоже “узнали” в Бахчисарае герои стихотворения “Вновь подарен мне дремотой...”? На Чугунных воротах в Павловске он значительно крупнее, чем в Царском Селе, и сразу бросается в глаза. “Вновь подарен мне дремотой...” — не простое, а двойное воспоминание: героиня далеко от дорогих мест, в Севастополе (место написания обозначено наряду с датой), вспоминает Бахчисарай и то, как она там с другом вспоминала “царскосельские сады”.

В данном случае совмещение царскосельских и павловских реалий было бы особенно естественно для жителей одного городка, от которого рукой подать до другого¹⁰. Оно встречается и в мемуарной прозе, и в стихах Ахматовой. В стихотворении 1940 г. “Из цикла “Юность”” (“Мои молодые руки...”), где речь идет о “договоре”, заключенном, как нетрудно понять, с поэзией¹¹, может быть, скорее к Павловску, чем к Царскому Селу, относятся строки “Мои молодые руки // Тот договор подписали // Среди цветочных киосков // И граммофонного треска <...>” (вспомним слова о цветочном киоске в заметке о запахах Павловского вокзала) и предположительно следующие: “А нам бы тогдашний вечер // Показался бы маскарадом, // Показался бы карнавалом, // Феерией grand-gala” (“пышным торжеством” — вполне возможная ассоциация с концертом), но определенно о Царском Селе говорится: “От дома того — ни щепки, // Та вырублена аллея <...>” (1, 475, 476). А последние строки обращены к некоему человеку, в котором естественнее всего узнать Н. В. Недоброво, чью роль в становлении ее личности Ахматова оценивала чрезвычайно высоко: “Ты! кому эта поэма принадлежит на 3/4, так как я сама на 3/4 сделана тобой, я пустила тебя только в одно лирическое отступление (царскосельское)” (3, 240), — писала она в одном из прозаических набросков в связи с “Поэмой без героя”. “Ты неотступен, как совесть, // Как воздух, всегда со мною, // Зачем же зовешь к ответу? // Свидетелей знаю твоих: // То Павловского вокзала // Раскаленный музыкой купол // И водопад белогриный // У Баболовского дворца” (1, 476) — в этом завершении стихотворения “Из цикла “Юность”” у того, кто “неотступен, как совесть”, два как бы равноценных “свидетеля”, один павловский, другой царскосельский. Павловск и Царское Село наряду с другом, автором статьи “Анна Ахматова” (1915), которую Анна Андреевна считала пророческой, раскрывшей ей ее собственное человеческое и творческое лицо, в том числе в будущем¹², оказываются, по сути, даже не просто свидетелями, а участниками становления ее поэтического дара.

В книге Н. П. Анциферова “Душа Петербурга” (1922) описание Павловска дается совершенно в духе Ахматовой, хотя цитируются стихи Жуковского и Тютчева (кстати, Тютчев был одним из любимейших поэтов Недоброво¹³). Вполне возможно влияние на Анциферова ахматовского стихотворе-

⁹ Там же. С. 258—259.

¹⁰ В 1962 г. Ахматова писала, что в неюфагах гумилевских «Озер» «не сразу согласишься желтые кувшинки в пруду между Ц[арским] С[елом] и Павловском <...>» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). М.; Torino, 1996. С. 219).

¹¹ См.: *Тищенко Р. Д.* Ранние поэтические опыты Анны Ахматовой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 141.

¹² См.: *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т. 1. М., 1997. С. 124—125.

¹³ См.: *Недоброво Н. В.* О Тютчеве // Орлова Е. И. Литературная судьба Н. В. Недоброво. Томск; М., 2004. С. 242—274.

ния “Все мне видится Павловск холмистый...”, но автобиографическая проза Ахматовой создавалась намного позже; поэтому совпадения, скорее всего, объясняются тем, что и выдающийся поэт, и выдающийся краевед, знаток города одинаково поняли “душу” и характер Павловска. В частности, Анциферов упоминает “парк с нежными очертаниями холмов и рощиц, застенчивые памятники, вызывающие образы: любви, дружбы и смерти; туманы над тихо журчащей Славянкой — все это полно женственной мягкости и пассивности. Вся природа здесь глубоко спиритуализирована. Павловский парк *elisium* теней. Ясный осенний вечер — наиболее родственный ему час <...>. Глубокая тишина увяданья, баюкающая душу, уносящая в мир воспоминаний. Еще сильнее ее власть в вечерний час. <...> Звуки и запахи должны быть также приняты во внимание”¹⁴.

Но Павловск для Ахматовой — даже и не только “душа” города и источник поэтического творчества, не только память о дорогом человеке, чья смерть после их свидания в Крыму последовала довольно скоро и вызывала в Ахматовой, позволившей себе в стихах отправить живого “в царство тени”, тяжелые угрызения совести. Ассоциативная аура павловских образов чрезвычайно широка. Павловск для Ахматовой — “самый томный и самый тенистый”, потому его и “не забыть никогда” (1, 246). Слово “томный” здесь отнюдь не проходное. “Истома”, “томленье” — общее у Ахматовой и Анненского, которого она считала предтечей самых разных современных ей поэтов¹⁵. Это состояние, предшествующее творчеству. Анненский, по слову Ахматовой, “был предвестьем, предзнаменованием // Всего, что с нами после совершилось, // Всех пожалел, во всех вдохнул томленье <...>” (2/1, 98); ее стихотворение “Творчество” 1936 г. начинается строчкой “Бывает так: какая-то истома <...>” (1, 434). С поэтическим наследием Анненского, как показано в брошюре А. Е. Аникина, связаны, кроме того, многие другие мотивы и образы, в том числе мотивы памяти и совести, материнства и “детскости” (в разных вариантах), безумия и бреда, долга, вины, суда и приговора, музыки (для Ахматовой это отчасти синоним поэзии), тени¹⁶ и др. И если учитель “как тень прошел и тени не оставил” (2/1, 98), то, при всей многозначности слова “тень” у Ахматовой¹⁷, допустимо предположить, что в “Реквиеме” “тень безутешная” должна вызывать ассоциации скорее с другом-наставником Недоброво, чем с Гумилевым (“утешный мой” в стихотворении о Бахчисарае могло быть отнесено именно к Недоброво; расстрелянного Гумилева Ахматова не раз поминала в стихах торжественно и уважительно, но не так тепло)¹⁸, и

¹⁴ Анциферов Н. П. «Непостижимый город...»: Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. Л., 1991. С. 43—44.

¹⁵ См.: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие / Пер. с англ. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. М., 1991. С. 305—306.

¹⁶ См.: Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. 1. Новосибирск, 1988. С. 5, 7, 13—17, 22—26, 33, 35—36, 38, 41.

¹⁷ См.: Обухова О. Я. Образ тени в поэзии Анны Ахматовой // Анна Ахматова и русская литература начала XX века. Тезисы конференции. М., 1989. С. 29—32.

¹⁸ Впрочем, вопрос этот очень непрост. В стихотворении «Вторая годовщина» (1946) появляются обращенные, видимо, к Недоброво строки: «Как на шелку возникла стертom // Твоя страдальческая тень» (2/1, 121). «Страдальческая тень» отсылает, согласно комментарию (2/1, 511), пре-

не только с Царским Селом, но и с Павловском (“у заветного пня” по крайней мере для массового читателя вяжется с лиричным Павловском прощом, чем с куда более “парадным” Царским Селом¹⁹).

Наиболее характерно слияние жизненного образа Недоброво и поэтических образов И. Ф. Анненского в заключительной строфе стихотворения “Все мне видится Павловск холмистый...”:

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.
(1, 246)

Комментатор (М. М. Кралин) пишет: “Ахматова переносит на статую Аполлона-Кифареда в Павловском парке образ Фамиры-Кифареда из финальной сцены одноименной трагедии И. Анненского. Красногрудая птичка, по Анненскому, — нимфа, мать Кифареда, превращенная богами в птицу за кровосмесительную страсть к сыну. За такой образной формой Ахматова скрывает в этом стихотворении обстоятельства реальной семейной жизни Недоброво²⁰. Пересказ сюжетной коллизии драмы Анненского здесь чрезвычайно упрощен, отброшена важнейшая для автора “Фамиры-кифарэда” проблема соотношения эстетического и этического, проблема невольной вины, проблема самонаказания и т. д. В финале “вакхической драмы” Анненского одержимый своим искусством Фамира, спровоцированный матерью на состязание с музой Евтерпой, после своего поражения ослепляет себя и по велению богов становится нищим странствующим музыкантом, а мать в образе птички служит ему поводырем. Кстати, она — нимфа гор, что для Ахматовой, вероятно, породило отдаленную ассоциацию с холмами Павловска. Безумная страсть в “вакхической драме” представляла в разных видах, в том числе и как одержимость одним только искусством.

жде всего к образу Ленского. Пушкинские реминисценции, связь с самой дорогой — пушкинской — темой характерны для стихов Ахматовой, обращенных к Недоброво. В данном случае вспоминается отражение профиля Недоброво на парчовой занавеске сбоку от его рабочего стола (см.: *Тименчик Р. Д.* Ахматова и Пушкин: Заметки к теме // Ученые записки Латвийского гос. Университета им. Петра Стучки. Рига, 1974. Т. 215. Пушкинский сборник. Вып. 2. С. 38, 39, 43—45, 48—53, 55). Однако в позднем ахматовском наброске «К статье Г. С<труве> (о Гумилеве)» говорится: «Замазыванье акмеизма — большой грех перед страдальческой тенью» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 267). Здесь «страдальческая тень», безусловно, — основатель акмеизма Гумилев, а не противник акмеизма как литературного объединения Недоброво. В стихотворении же 1921 г. «Пока не свалюсь под забором...» образы того и другого сконтаминированы: посвящаясь Недоброво, но в тексте дана скрытая цитата из обращенных к Ахматовой «Пятистопных ямбов» Гумилева («Ни роз, ни архангельских сил»- 1, 362).

¹⁹ Правда, в стихотворении 1911 г. «Смутный отрок бродил по аллеям...» именно в Царском Селе замечены «низкие пни» (1, 77). Но в 1958 г. Ахматова в стихе «У озерных глухих берегов» заменила частый у нее (идуший от Блока) эпитет «глухих» на глагол «грустил»: «Откуда взяться глухим берегам возле резиденции царя?» В ответ на возражение Л. К. Чуковской, напомнившей о «пнях», Ахматова заявила: «У меня пни, а у вас просто привычка к прежнему» (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т. 3. С. 166).

²⁰ *Ахматова А.* Сочинения: В 2 т. / Составление и подготовка текста М. М. Кралина. Т. 1. М., 1990. С. 383.

В стихотворении Ахматовой “Пусть голоса органа снова грянут...” (1921), обращенном, вероятно, к композитору А. С. Лурье, католику по вероисповеданию (отсюда орган)²¹, лирическая героиня прощается с неверным спутником, предупреждая его: “Но берегись своей подруге страстной // Поведать мой неповторимый бред, — // Затем, что он пронизет жгучим ядом // Ваш благостный, ваш радостный союз... // А я иду владеть чудесным садом, // Где шелест трав и восклицанья муз” (1, 364). Связь с творчеством Анненского, несмотря на прямые переключки (“бред”, “яд”, “музы”), может быть, и не так очевидна, как в других случаях, с Недоброво и образами Павловска — предположительна. А. С. Лурье едва ли не во всех отношениях, в том числе нравственном, был полной противоположностью благороднейшему Н. В. Недоброво; но Ахматова с ее чувством вины и греха могла сопоставлять противоположные фигуры и по контрасту.

Кифаред в Павловске ассоциируется с Павловским вокзалом, где, согласно цитированной автобиографической заметке Ахматовой, ей виделся “призрак Настасьи Филипповны”. Ахматовой было присуще не только чувство вины и греха, но и — по контрасту — чувство своей «несравненной правоты»: «Больше нет ни измен, ни предательств, // И до света не слушаешь ты, // Как струится поток доказательств // Несравненной моей правоты» (1, 489), — говорится в стихотворении 1940 г. «Не недели, не месяцы — годы...» из цикла «Разрыв». М. М. Бахтин писал о героине «Идиота»: «Считая себя виновной, падшей, она в то же время считает, что другой, как другой, должен ее оправдывать и не может считать ее виновной. Она искренне спорит с оправдывающим ее во всем Мышкиным, но так же искренне ненавидит и не принимает всех тех, кто согласен с ее самоосуждением и считает ее падшей»²². В отличие от Настасьи Филипповны Ахматова обычно приходила к выводу о своей правоте не только перед другими, но и перед собой. И все же в определенных случаях, надо полагать, могла видеть в Настасье Филипповне свою литературную предшественницу.

Вообще Достоевский был для Ахматовой первым сильнейшим впечатлением от литературы. «Первая бессонная ночь — «Бр<атя> Карамазовы»»²³, — вспоминала она. Юную Ахматову поражали как произведения, так и личность писателя. План ее неосуществленной книги «Мои полвека» начинается пунктом «[1] Ф. М. Достоевский (рассказ М. Ф. Вальцер)» (5, 245). В других планах автобиографической книги этот рассказ как важнейшее событие упоминается еще четыре раза (5, 246, 248—250). Для Ахматовой и Петербург ее первых лет ассоциировался с Достоевским: «Петербург я начинаю помнить очень рано — в девятых годах. Это в сущности Петербург Достоевского» (заметка «Город» — 5, 172), — и даже вся Россия: элегия «Предьстория» (1940, 1942, 1943) начинается словами «Россия Достоевского» (1, 485).

Для И. Ф. Анненского Достоевский был “поэтом нашей совести”²⁴, а для Ахма-

²¹ См.: Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1998. Т. 1. С. 866—868 (комментарий Н. В. Королевой). Вместе с тем, думается, не исключены ассоциации с другим человеком — В. К. Шилейко, с которым Ахматова к 1921 г. прекратила супружеские отношения.

²² Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979. С. 273.

²³ Записные книжки Анны Ахматовой. С. 80.

²⁴ Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 147, 239 (см.: Аникин А. Е. Указ. соч. С. 16, 27).

товой также и поэтом безумия: А. Е. Аникин справедливо выделил в этой связи эпитет-неологизм (прилагательное, образованное от фамилии) в “Поэме без героя” в соответствующем сочетании — “достоевский и бесноватый” Петербург²⁵. Настасья (Анастасия — воскресающая) Филипповна Барашкова (намек на жертвенность) убита почти обезумевшим Рогожиным²⁶. В Павловском вокзале происходит скандальная сцена (в конце ее участвует и Рогожин), когда Настасья Филипповна, страстно тянущаяся к нравственной чистоте “падшая женщина”, наносит удар хлыстом по лицу оскорбившего ее офицера, а князь Мышкин, у которого, как известно, не все в порядке с психикой, пытается ее защитить, в частности, тем, что говорит о ней: “Она сумасшедшая! Помешанная! Уверяю вас!”²⁷ — и потом не раз это повторяет. Ахматовой в разное время приходилось бывать в роли “монахини” и роли “блудницы”, она преодолела противоположность этих ролей, освятив любовь вообще²⁸, и в этом смысле образы “Идиота” были ей далеко не безразличны. Набрасывая в 1959 г. сценарий или либретто балета по “Поэме без героя”, Ахматова упомянула ряд персонажей поэмы, другие известные образы включая Фауста и добавила: “А еще призрак Настасьи Филипповны”²⁹.

Первый этап романа с Артуром Лурье у нее пришелся, по мнению М. М. Кралина, на 1914 г. Тогда Ахматова, замужняя женщина, посещала Лурье, который был женат, у него на квартире в доме № 29 по Гороховой улице (кв. 25); он в то время писал романы на стихи “Четок”. Они за полночь засиживались за роялем. Хозяйка квартиры “сочла затягивающиеся визиты Ахматовой не совсем приличными для нравственного воспитания подрастающей дочери Аси, и Артуру было отказано от квартиры”³⁰. Через дом от дома № 29 находился дом № 33, который, как известно, считался “домом Рогожина”³¹ — пусть с недостаточными основаниями, но Ахматова наверняка считала так. Мимо этого дома она ездила к Лурье с Царскосельского вокзала. Место гибели Настасьи Филипповны и место одного из ее отчаянных поступков, связанное с музыкальными ассоциациями, — Павловский вокзал — вполне могли соотноситься в сознании Ахматовой, потому и павловский Аполлон-Кифаред мог быть связан в ее поэтическом творчестве отнюдь не только с Фамирой-кифаредом Анненского. Это, конечно, гипотеза, но у поэта столь широких ассоциаций, как Ахматова, важно учитывать даже предположительные возможности истолкования и поэтических, и прозаических (не собственно художественных) текстов. Во всяком случае, вряд ли случайно в 1940 г. Ахматова задумывала целую поэму “Россия Достоевского” («Предыстория», первая из “Северных элегий”, посвящалась времени рождения ее поколения), написала первый вариант “Поэмы без героя” и отрывок “Пятнадцатилетние руки...”³², позже озаглавленный “Из цикла “Юность””. Внутренняя связь этих произведений сменению не подлежит, а парки и памятники Павловска являются одним из многочисленных элементов этой связи. Причастно к ней и творчество Достоевского.

²⁵ Аникин А. Е. Указ. соч. С. 27.

²⁶ См.: Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 63—64, 67—70.

²⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. Л., 1974. С. 291.

²⁸ См.: Хейт А. Указ. соч. С. 197—198, 207—208.

²⁹ Записные книжки Анны Ахматовой. С. 85.

³⁰ Кралин М. Артур и Анна. Л., 1990. С. 191—192.

³¹ См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 440.

³² См.: Хейт А. Указ. соч. С. 249.